

Иван Сергеевич Тургенев

Отцы и дети

*Посвящается
памяти
Виссариона
Григорьевича Белинского*

I

— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напomaженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответил: «Никак нет-с, не видать».

— Не видать? — повторил барин.

— Не видать, — вторично ответил слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит,

подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоянного дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», — в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул ляжку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, — словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался

храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсанов, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом,¹ и в том же году генерал Кирсанов,

¹ *Кандидат* — лицо, сдавшее специальный «кандидатский экзамен» и защитившее специальную письменную работу по окончании университета, первая ученая степень, установленная в 1804 г.

уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в Английский клуб,² но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец — в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий.

² *Английский клуб* — место собрания состоятельных и родовитых дворян для вечернего времяпрепровождения. Здесь развлекались, читали газеты, журналы, обменивались политическими новостями и мнениями и т. п. Обычай устраивать такого рода клубы заимствован в Англии. Первый английский клуб в России возник в 1700 году.

Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичным двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год.³ Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, — и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и

³ «...но тут настал 48-й год». — 1848 год — год февральской и июньской революций во Франции. Страх перед революцией вызвал со стороны Николая I крутые меры, в том числе запрет выезда за границу.

не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал смотреть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоянного дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын... кандидат... Аркаша...» — беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... «Не дождалась!» — шепнул он уныло... Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал смотреть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес...

— Никак, они едут-с, — доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица...

— Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений

спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

— Дай же отряхнуться, папаша, — говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, — я тебя всего запачкаю.

— Ничего, ничего, — твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. — Покажи-ка себя, покажи-ка, — прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее».

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

— Папаша, — сказал он, — позволь познакомиться тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста, в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную

руку, которую тот не сразу ему подал.

— Душевно рад, — начал он, — и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Евгений Васильев, — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.



— Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, — продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

— Так как же, Аркадий, — заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну, — сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

— Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

— Сейчас, сейчас, — подхватил отец. — Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

— Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, — хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоянного двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей, — только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель...

— Он в тарантасе поедет, — перебил вполголоса Аркадий. — Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой — ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаров к ямщику.

— Слышь, Митюха, — подхватил другой, тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние

прорехи тулупа, — барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

— Живей, живей, ребята, подсобляйте, — воскликнул Николай Петрович, — на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку — и оба экипажа покатили.

III

— Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал, — говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену. — Наконец!

— А что дядя? здоров? — спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

— Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

— А ты долго меня ждал? — спросил Аркадий.

— Да часов около пяти.

— Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

— Какую я тебе славную лошадь приготовил! — начал он, — ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

— А для Базарова комната есть?

— Найдется и для него.

— Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

— Ты недавно с ним познакомился?

— Недавно.

— То-то прошлую зимой я его не видал. Он чем занимается?

— Главный предмет его — естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.

— А! он по медицинскому факультету, — заметил Николай Петрович и помолчал. — Петр, — прибавил он и протянул руку, — это, никак, наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

— Точно так-с, — промолвил Петр.

— Куда это они едут, в город, что ли?

— Полагать надо, что в город. В кабак, — прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевелился: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

— Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году, — продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. — Не платят оброка.⁴ Что ты будешь делать?

— А своими наемными работниками ты доволен?

— Да, — процедил сквозь зубы Николай Петрович. — Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется — мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

— Тени нет у вас, вот что горе, — заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

— Я с северной стороны над балконом

⁴ *Оброк* — более прогрессивная по сравнению с барщиной денежная форма эксплуатации крестьян. Крестьянин заранее «обрекался» дать помещику определенную сумму денег, и тот отпускал его из имения на заработки.

большую маркизу ⁵ приделал, — промолвил Николай Петрович, — теперь и обедать можно на воздухе.

— Что-то на дачу больно похоже будет... а впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь...

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

— Конечно, — заметил Николай Петрович, — ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным...

— Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился.

— Однако...

— Нет, это совершенно все равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

— Не помню, писал ли я тебе, — начал Николай Петрович, — твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

— Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич

⁵ *Маркиза* — здесь: навес из какой-либо плотной ткани над балконом для защиты от солнца и дождя.

жив?

— Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьино не найдешь.

— Приказчик у тебя все тот же?

— Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) Il est libre, en effet, ⁶ — заметил вполголоса Николай Петрович, — но ведь он — камердинер. ⁷ Теперь у меня приказчик ⁸ из мещан: ⁹ кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем, — прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения, — я тебе сейчас сказал, что

⁶ Он в самом деле вольный (*фр.*).

⁷ *Камердинер* — (нем. *комнатный слуга*) — самый приближенный из слуг.

⁸ *Приказчик* — здесь: управляющий хозяйством имения.

⁹ *Мещане* — одно из сословий в царской России.

ты не найдешь перемен в Марьине... Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предvarить тебя, хотя...

Он запнулся на мгновение и продолжал уже по-французски.

— Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал...

— Фенечка? — развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

— Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить.

— Помилуй, папаша, зачем?

— Твой приятель у нас гостить будет... неловко...

— Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

— Ну, ты, наконец, — проговорил Николай Петрович. — Флигелек-то плох — вот беда.

— Помилуй, папаша, — подхватил Аркадий, — ты как будто извиняешься; как тебе не

совестно.

— Конечно, мне должно быть совестно, — отвечал Николай Петрович, все более и более краснея.

— Полно, папаша, полно, сделай одолжение! — Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» — подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. — Перестань, пожалуйста, — повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце... Но он тут же обвинил себя.

— Вот это уж наши поля пошли, — проговорил он после долгого молчания.

— А это впереди, кажется, наш лес? — спросил Аркадий.

— Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

— Зачем ты его продал?

— Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

— Которые тебе оброка не платят?

— Это уж их дело, а впрочем, будут же они

когда-нибудь платить.

— Жаль леса, — заметил Аркадий и стал глядеть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротницами¹⁰ возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые,

¹⁰ *Воротница* — остатки ворот без створок.

словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей — и, вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня, вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... «Нет, — подумал Аркадий, — небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..»



Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, вясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще

низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

— Теперь уж недалеко, — заметил Николай Петрович, — вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

— Конечно, — промолвил Аркадий, — но что за чудный день сегодня!

— Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным — помнишь, в Евгении Онегине:

Как грустно мне твое
явленье,
Весна, весна, пора
любви!
Какое...

— Аркадий! — раздался из тарантаса голос

Базарова, — пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

— Хочешь сигарку? — закричал опять Базаров.

— Давай, — отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованью, Бобылий Хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка

лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку¹¹ с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

— Вот мы и дома, — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поесть действительно не худо, — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. — Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. — Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он ослабилась, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и

¹¹ *Ливрейная куртка* — короткая ливрея, повседневная одежда молодого слуги.

положил руки за спину.

— Вот он, Прокофьич, — начал Николай Петрович, — приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь?

— В лучшем виде-с, — проговорил старик и ослабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. — На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдет ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажете только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одёженку, — прибавил он, снимая с себя свой балахон.

— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую «одёженку» и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

— Да, надо почиститься, — отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский *сьют*,¹² модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его

¹² Костюм английского покроя (англ.).

коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной: особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands»,¹³ он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил:

— Добро пожаловать.

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

¹³ Рукопожатие (англ.).

— Я уже думал, что вы не приедете сегодня, — заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. — Разве что на дороге случилось?

— Ничего не случилось, — отвечал Аркадий, — так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьяча, папаша, а я сейчас вернусь.

— Постой, я с тобой пойду! — воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана.

Оба молодые человека вышли.

— Кто сей? — спросил Павел Петрович.

— Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

— Он у нас гостить будет?

— Да.

— Этот волосатый?

— Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

— Я нахожу, что Аркадий *s'est degourdi*,¹⁴ — заметил он. — Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из

¹⁴ Стал развязнее (*фр.*).

своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т. д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или, скорее, восклицание, вроде «а! эге! гм!». Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.



— А чудаковат у тебя дядя, — говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насывая короткую трубочку. — Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да ведь ты не знаешь, — ответил Аркадий, — ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он

красавцем был, голову кружил женщинам.

— Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

— Пожалуй; только он, право, хороший человек.

— Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

— Отец у меня золотой человек.

— Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

— Удивительное дело, — продолжал Базаров, — эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо — английские рукомойники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постели, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и

пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле,¹⁵ перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер *Galignani*,¹⁶ но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними

¹⁵ *Гамбсово кресло* — кресло работы модного петербургского мебельного мастера Гамбса.

¹⁶ «*Galignani*» — «*Galignani s Messenger*» — «Вестник Галиньяни» — ежедневная газета, издававшаяся в Париже на английском языке с 1814 года. Получила название по имени своего основателя — Джованни Антонио Галиньяни.

воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке¹⁷ и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге! — подумал он, посмотрев кругом, — местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько

¹⁷ Женская теплая кофта, обычно без рукавов, со сборками по талии.

минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчишек.

— А вот на что, — отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, — я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

— Разве ты дохтур?

— Да.

— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!

— Я их боюсь, лягушек-то, — заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

— Чего бояться? разве они кусаются?

— Ну, полезайте в воду, философы, — промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

— Федосья Николавна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

— Я сам разолью, сам, — поспешно подхватил Николай Петрович. — Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

— Со сливками, — отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: — Папаша?

Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

— Что? — промолвил он.

Аркадий опустил глаза.

— Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным, — начал он, — но ты сам, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не рассердишься?..

— Говори.

— Ты мне даешь смелость спросить тебя... Не

оттого ли Фен... не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Николай Петрович слегка отвернулся.

— Может быть, — проговорил он наконец, — она предполагает... она стыдится...

Аркадий быстро вскинул глаза на отца.

— Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых — захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

— Спасибо, Аркаша, — глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу. — Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила... Это не легкомысленная

прихоть. Мне нелегко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

— В таком случае, я сам пойду к ней, — воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула. — Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

— Аркадий, — начал он, — сделай одолжение... как же можно... там... Я тебя не предупредил...

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущенье опустил на стул. Сердце его забилося... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости — сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений — и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

— Мы познакомились, отец! — воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице. — Федосья Николаевна, точно, сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но

как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия... Аркадий бросился ему на шею.

— Что это? опять обнимаетесь? — раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

— Чему ж ты удивляешься? — весело заговорил Николай Петрович. — В кои-то веки дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

— Я вовсе не удивляюсь, — заметил Павел Петрович, — я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда, не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычно неумолимостью упирались в

выбранный подбородок.

— Где же новый твой приятель? — спросил он Аркадия.

— Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

— Да, это заметно. — Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. — Долго он у нас прогостит?

— Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

— А отец его где живет?

— В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое имение. Он был прежде полковым доктором.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров?

— Кажется, был.

— Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! — Павел Петрович повел усами. — Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? — спросил он с расстановкой.

— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое?

— Сделай одолжение, племянничек.

— Он нигилист.¹⁸

— Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

— Он нигилист, — повторил Аркадий.

— Нигилист, — проговорил Николай Петрович. — Это от латинского *nihil*, *ничего*, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признает?

— Скажи: который ничего не уважает, — подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится с критической точки зрения, — заметил Аркадий.

— А это не все равно? — спросил Павел Петрович.

— Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного

¹⁸ *Нигилист* — отрицатель (от латин. *nihil* — ничего); нигилизм — система взглядов, имевшая распространение в середине XIX века. В 60-е годы XIX столетия противники революционной демократии называли нигилистами вообще всех революционно настроенных.

принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

— И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович.

— Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.



— Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без

принсипов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «прынцип», налегая на первый слог), без принсипов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela,¹⁹ дай вам бог здоровья и генеральский чин,²⁰ а мы только любоваться вами будем, господа... как бишь?

— Нигилисты, — отчетливо проговорил Аркадий.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

Николай Петрович позвонил и закричал: «Дуняша!» Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски-пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было

¹⁹ Вы все это переменили (*фр.*).

²⁰ *Дай вам бог здоровья и генеральский чин.* — Несколько видоизмененная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (действие II, явл. V).

опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее милovidного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

— Здравствуй, Фенечка, — проговорил он сквозь зубы.

— Здравствуйте-с, — ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

— Вот и господин нигилист к нам жалует, — промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение

обвивало тулью²¹ его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить.

— Что это у вас, пиявки? — спросил Павел Петрович.

— Нет, лягушки.

— Вы их едите или разводите?

— Для опытов, — равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

— Это он их резать станет, — заметил Павел Петрович. — В принципы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома «дибоширничает» и от рук отбил. «Такой уж он Езоп, — сказал он

²¹ Тулья — верхняя часть шляпы.

между прочим, — всюду протестовал себя ²² дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет».

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили? — спросил наконец Николай Петрович.

— Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов,²³ ты можешь убить их, Аркадий.

— А вы не охотник?

— Нет.

— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил в свою очередь Павел Петрович.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

— Говорят, германцы в последнее время

²² *Протестовал себя* — зарекомендовал, показал себя.

²³ *Бекас* — небольшая птица, болотная дичь.

сильно успели по этой части.

— Да, немцы в этом наши учителя, — небрежно отвечал Базаров.

Слово «германцы» вместо «немцы» Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошние ученые дельный народ.

— Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

— Пожалуй, что так.

— Это очень похвальное самоотвержение, — произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. — Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.

— А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое

безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

— Не все, — ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив твой друг, признаться».

— Что касается до меня, — заговорил он опять, не без некоторого усилия, — я немец, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были — ну, там Шиллер,²⁴ что ли, *Gёtte* ²⁵ ... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли все какие-то химики да материалисты...

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — перебил Базаров.

— Вот как, — промолвил Павел Петрович и,

²⁴ *Шиллер Фридрих* (1759–1805) — великий немецкий поэт, автор пьес «Коварство и любовь», «Разбойники» и др.

²⁵ *Gетте* — искаженное произношение имени Вольфганга Гёте (1749–1832) — великого немецкого поэта и философа; друг Шиллера. Их обоих зовут поэтами «эпохи бури и натиска».

словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. — Вы, стало быть, искусства не признаете?

— Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! — воскликнул Базаров с презрительною усмешкой.

— Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

— Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука — наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

— Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

— Что это, допрос? — спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор:

— Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем, и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих²⁶

²⁶ *Либих Юстус* (1803–1873) — немецкий химик, автор ряда работ по теории и практики сельского хозяйства.

сделал удивительные открытия насчет удобрений полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.



— Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в

глаза²⁷ не видали.

«Ну, ты, я вижу, точно нигилист», — подумал Николай Петрович.

— Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае, — прибавил он вслух. — А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

— Да, — проговорил он, ни на кого не глядя, — беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там — хватить! — оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди такими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак.²⁸ Что делать! Видно, молодежь, точно, умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

— Что, он всегда у вас такой? —

²⁷ *Аза в глаза не видать* — значит не знать самого начала чего-либо; аз — первая буква славянской азбуки.

²⁸ *Отсталый колпак* — в то время старики носили ночные колпаки.

хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

— Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся, — заметил Аркадий. — Ты его оскорбил.

— Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбие, львиные привычки,²⁹ фатство.³⁰ Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, *Dytiscus marginatus*, знаешь? Я тебе его покажу.

— Я тебе обещался рассказать его историю, — начал Аркадий.

— Историю жука?

— Ну, полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

— Я не спорю; да что он тебе так дался?

— Надо быть справедливым, Евгений.

²⁹ *Львиные привычки* — здесь: в смысле щегольских привычек «светского льва».

³⁰ *Фатство* (или фатовство) — чрезмерное щегольство, от слова *фат* — пошлый франт, щеголь.

— Это из чего следует?

— Нет, слушай...

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в Пажеском корпусе.³¹ Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен — он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя несколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы;

³¹ *Пажеский корпус* — привилегированное военное учебное заведение. В Пажеский корпус принимались исключительно дети крупных сановников.

он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять-шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось.

В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над Псалтырем. День настаивал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала

ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза — они были невелики и серы, — но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, — загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем, даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой, даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе — бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью: она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с

недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она замирала у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.

— Что это? — спросила она, — сфинкс?

— Да, — ответил он, — и этот сфинкс — вы.

— Я? — спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. — Знаете ли, что это очень лестно? — прибавила она с незначительною усмешкой, а глаза глядели все так же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее

из виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие... но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене³² он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна... Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажечь старую жизнь, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя-тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью, — знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом,

³² *Баден* — знаменитый курорт.

бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии, близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь, как вкопанный, близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка.



Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастьем, но

выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания; после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее, он все потерял.

— Я не зову теперь тебя в Марьино, — сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены), — ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь.

— Я был еще глуп и суетлив тогда, — отвечал Павел Петрович, — с тех пор я уgomонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться.

Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в

деревне, он уже не покидал ее, даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном³³ у Людовика-Филиппа;³⁴ за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную

³³ *Веллингтон Артур Уэлсли* (1769–1852) — английский полководец и государственный деятель; в 1815 году при содействии прусской армии одержал победу над Наполеоном при Ватерлоо.

³⁴ *Людовик-Филипп*, Луи-Филипп — французский король (1830–1848); февральская революция 1848 года заставила Людовика-Филиппа отречься от престола и бежать в Англию, где он и умер.

ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами...

— Вот видишь ли, Евгений, — промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ, — как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги, — имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено, — но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступает за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон...

— Известное дело: нервы, — перебил Базаров.

— Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы... особенно... особенно насчет отношений к женщинам.

— Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это!

— Ну, словом, — продолжал Аркадий, — он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его — грешно.

— Да кто его презирает? — возразил Базаров. — А я все-таки скажу, что человек,

который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и, когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, такой человек — не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции.

— Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил, — заметил Аркадий.

— Воспитание? — подхватил Базаров. — Всякий человек сам себя воспитать должен — ну хоть как я, например... А что касается до времени — отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распущенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука.

И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: «Помилуйте-с, известное дело-с» — и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как доделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: «Mais je puis vous donner de l'argent»,³⁵ — и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дразги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и

³⁵ Но я могу дать тебе денег (*фр.*).

трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. «Брат не довольно практичен, — рассуждал он сам с собою, — его обманывают». Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши, — говаривал он, — а ты недаром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата.

Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее.

— Кто там? Войдите, — раздался голос Фенечки.

— Это я, — проговорил Павел Петрович и отворил дверь.

Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась со своим ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.

— Извините, если я помешал, — начал Павел Петрович, не глядя на нее, — мне хотелось только попросить вас... сегодня, кажется, в город

посылают... велите купить для меня зеленого чаю.

— Слушаю-с, — отвечала Фенечка, — сколько прикажете купить?

— Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена, — прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки. — Занавески вот, — промолвил он, видя, что она его не понимает.

— Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены.

— Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо.

— По милости Николая Петровича, — шепнула Фенечка.

— Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? — спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.

— Конечно, лучше-с.

— Кого теперь на ваше место поместили?

— Теперь там прачки.

— А!

Павел Петрович умолк. «Теперь уйдет», — думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним как вкопанная, слабо перебирая пальцами.

— Отчего вы велели вашего маленького вынести? — заговорил наконец Павел Петрович. — Я люблю детей: покажите-ка мне его.

Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней.

— Дуняша, — кликнула она, — принесите Митю (Фенечка всем в доме говорила *вы*). А не то погодите; надо ему платьице надеть.

Фенечка направилась к двери.

— Да все равно, — заметил Павел Петрович.

— Я сейчас, — ответила Фенечка и проворно вышла.

Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода; в одном углу возвышалась кровать под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами «кружовник»; Николай

Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке, — больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой — Ермолов, ³⁶ в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб.

Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том

³⁶ *Ермолов Алексей Петрович* (1772–1861) — генерал, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, герой Отечественной войны 1812 года. В 1816–1827 гг. командир отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий в Грузии.

Стрельцов 37 Масальского, перевернул несколько страниц... Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но щегольская рубашечка, видимо, на него подействовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?

37 ...разрозненный том *Стрельцов*. — Речь идет об историческом четырехтомном романе «Стрельцы» К. П. Масальского (1802–1861), вышедшем в свет в 1832 году. Произведения Масальского отличались неглубоким содержанием, но занимательной интригой.



— Экой бутуз, — снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чиха и засмеялся.

— Это дядя, — промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под

нее грош.

— Сколько, бишь, ему месяцев? — спросил Павел Петрович.

— Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа.

— Не восьмой ли, Федосья Николаевна? — не без робости вмешалась Дуняша.

— Нет, седьмой; как можно! — Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всюю пятерней за нос и за губы. — Баловник, — проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.

— Он похож на брата, — заметил Павел Петрович.

«На кого ж ему и походить?» — подумала Фенечка.

— Да, — продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел Петрович, — несомненное сходство.

Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.

— Это дядя, — повторила она, уже шепотом.

— А! Павел! вот где ты! — раздался вдруг голос Николая Петровича.

Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.

— Славный у тебя мальчуган, — промолвил

он и посмотрел на часы, — а я завернул сюда насчет чаю...

И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.

— Сам собою зашел? — спросил Фенечку Николай Петрович.

— Сами-с; постучались и вошли.

— Ну, а Аркаша больше у тебя не был?

— Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?

— Это зачем?

— Я думаю, не лучше ли будет на первое время.

— Н... нет, — произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб. — Надо было прежде... Здравствуй, пузырь, — проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити.

— Николай Петрович! что вы это? — пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их... Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в

отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка ли здесь хозяйка?» — пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению низко поклонившись, спросила